



Я. И. Де САНГЛЕН

Параллель между Руссо и Вольтером

Мало писателей, которые имели бы такое сильное, обширное влияние на свою нацию, какое Вольтер и Руссо имели на Французов. Будучи весьма различны один от другого по характеру и образу мыслей, оба они умели, каждый особенным путем, с непреодолимой силою действовать на своих соотечественников. Первый просвещал ум, другой трогал сердце. Один с улыбкой на устах употреблял для достижения цели своей колкости, насмешки; другой почти в беспрестанной меланхолии жаловался, бранил, трогал. Вольтер как стихотворец бессмертен. Тот, который с Корнелем и Расином составляет Триумвират французских трагиков, никогда не умрет на театре своей нации. Руссо хотя и не может быть назван стихотворцем, но весь его характер пиитический. В его жизни, во всех его творениях видим мы его вне мира действительного. Здесь воспевает он мечтательную любовь; там является как Философ, Педагог, и старается обратить нас в первобытное состояние природы. Вольтер выводит на сцену великие характеры, в уста действующих лиц влагает высокие изречения. Он более удивляет, нежели говорит к сердцу. Руссо воспламенен был ко всему высокому, героическому, огонь, разлитой в его творениях, проникает в душу читателя. Вольтеров ум, равно как и стиль его, был блистателен; он от одного предмета к другому перелетал с быстротою молнии; куда ни обращал он свое остроумие, там распространялся свет, хотя свет сей часто подобен сверканию блудящаго огня; везде в творениях его представляется взору нашему обширное поле, хотя поле сие подобно неизмеримой пустыне. Руссо имел также блистательный, пленительный стиль, но характер его и дух, находящийся

ся в его творениях не сатирической, а более элегической. Вся жизнь его была элегия. Все его сочинения носят на себе отпечаток меланхолии и крайнего неудовольствия. Даже и в то время, когда он говорит о растениях, мы видим, что огорчение против людей изгнало его из их общества в царство неодушевленной Натуры. Вольтер не щадил ничего; самое важное, самое священное не осталось им неприкосновенно; подобно неистовому Роланду, который низлагает все, ему встречающееся, чтобы проложить себе дорогу сквозь непроходимые леса и бесчисленные толпы неприятелей, рассекает он мечом сатиры своей сети предрассудков и мнений человеческих, не заботясь о том, не упадет ли под ударами его и самая истина, служащая основанием нашей нравственности и нашего спокойствия. И Руссо ничего не щадил, исключая религии, которая всегда была для него святынею, палладией¹ человечества, но все то, что может названо быть произведением людей с самых первых начал воспитания до великих государственных учреждений, — все было предметом не сатиры, но его жалоб, его нареканий и вместе предметом его исследований. Даже и науки хотел он изгнать из круга общества человеческого, потому что оне в глазах его были источником всех бедствий. Вольтер был славолубив и тщеславен до бесконечности; его щастие, самая жизнь его зависели от похвалы или неодобрения какой-либо новой его театральной пиэсы. Как сила духа его сохранила твердость свою до самой глубокой старости, так и стремление к похвале и славе остались ненасытными до последней минуты его жизни. Я знаю только одного человека, который превосходил и его неутолимимым самолюбием своим; — это был Лудовик XIV, но Вольтер был счастливее Лудовика, которого при конце жизни принудили обстоятельства претерпеть тяжкие, жестокие унижения². Впрочем, и Вольтер мог бы признаться в том, что сказал Расин: *самое легкое неодобрение уязвляло жизнь мою более, нежели сколько блистательнейшая похвала могла доставить мне удовольствия*³.

Нельзя оспаривать того, что и Руссо был самолюбив, в чем упрекают его столь многие, но его самолюбие, как и всякая почти черта в его характере, было особенного роду. Оно происходило от той живости и той искренности, с которыми он придерживался правил своих, сии правила и мнение его столь глубоко вкоренились в его душу и слились так тесно с его характером, что отделить их друг от друга было невозможно. Кто оспаривал его, тот был личный ему неприятель. По его мнению, одна только неприязнь могла быть причиною тому,

что люди вооружались против толь ясных, естественных правил, каковыми почитал он свои. Итак, Руссо не столь был жаден к славе, как не способен переносить противоречия; не столько имел тщеславия, сколько нетерпимости к мнениям других.

Вольтер вооружился против *нетерпимости*, и то сильное участие, которое принимал он в бедственной истории *Каласа*, приобрело ему титло благотворителя человечества⁴. Но он простерся далее. С *нетерпимостию* хотел он ниспровергнуть и самую веру. Так земледелец часто искореняет целое дерево, желая истребить ядовитое растение, на нем наростшее. Может быть, возразит кто, что в такой нации, какова французская, где поступки и мнения управляются по большей части силою фантазии, *нетерпимость* не могла быть уничтожена иначе, как только оружием сатиры и насмешек, но злоупотребление какой-либо вещи не может быть оправдано спасительными своими последствиями; и неверие не причинило ли с того времени более вреда Франции, нежели *нетерпимость* — тогда уже уменьшавшаяся, — могла бы то сделать. Руссо ополчался противу всего ненатурального или против того, что ему ненатуральным *казалось*. Он неоспоримо заслужил место между благотворителями человечества уже и одним своим «Эмилем». Незвирая на все, что о сем его творении говорено правильно или неправильно, нет сомнения, что «Эмилю» обязаны мы лучшими правилами и лучшею методою в педагогике.

Вольтер соединял в себе многообразные таланты, которые одни уже могли возвеличить славу его между соотечественниками и между прочими европейскими нациями. Вольтер как трагик, как комик и как сатирик может стоять наряду с знаменитейшими писателями древних и новейших времен. Между эпическими стихотворцами занимает он также не последнее место. Жаль, что он историю обрабатывал как будто бы прозаическую эпопею. Но, невзирая на все недостатки, в которых можно упрекать исторические его творения, нельзя не согласиться, что повествовательное искусство обязано ему весьма явно.

Руссо достиг славы своей совершенно другим путем. Вольтер прославил себя, лстя, так сказать, Гению своей нации и своего века; Руссо обессмертил имя свое, нападал на господствовавшие нравы и мнения, порицал то, что все другие хвалили, проповедуя о *Натуре* и натуральных обязанностях в такое время, когда *Натура* изгнана была *Искусством*, когда самая *Философия* во *Франции* не только не оживляла чувства

к обязанностям, но даже ослабляла оное, однако ж нация, ценящая столь высоко остроумие, должна была любить и парадоксы, которые суть также плод остроумия. Следовательно, должно было обратить внимание на писателя, который в веке просвещения и утонченности старался доказать самыми блестящими, из Натуры и опыта почерпнутыми доводами, что просвещение вредно, что наука суть источник всех бедствий, нас удручающих, и что род человеческий тогда только может быть счастлив, когда он, оставив все свои преимущества, возвратится в состояние бессловесных животных; — должно было немногим. Он собственным примером показал, что историк должен быть не только повествователем, но и художником, живыми красками изображающим происшествия и характеры. Не менее важны и заслуги, оказанные им в образовании французского языка. Надобно было явиться писателю, каков был Вольтер, — обожаемому своею нациею, чтобы заставить всех вообще принять то, что сделала Французская Академия для усовершенствования отечественного языка; надобно было явиться писателю, которой бы имел самой обширной круг читателей, чтобы доставить французскому языку то преимущество, которое он со времен Лудовика XIV получить старался, — преимущество быть признану первым и образованнейшим между всеми Европейскими языками. В сем-то отношении Вольтер был собственно рожден для своей нации, он *необходимо должен был* всем нравиться, имея в высшем совершенстве то, что соотечественники его более всего почитают и любят; ум, проницательность, разнообразность в сведениях, живость и легкость в изображении и проч. С удивлением такого писателя, который внезапно предложил идеал Педагогике, совершенно противный всем известным методам воспитания, с которым, однако ж, вообще соглашались все чувствительные сердца. Только в одном творении соображался Руссо с Гением своей нации, а именно в *Новой Элоизе*. Мечтательная любовь и героизм, обнаруживающийся в преодолении оной, были верным, хотя утонченным отпечатком романического духа, одушевлявшего поэзию и сердца французов во времена рыцарства; с другой стороны, живое, пленительное изображение сладострастных сцен (как бы их, впрочем, ни оправдывали) слишком льстило чувственности читателей в развращенном веке.

Вольтер нападал на господствовавшую веру; хотел опровергнуть *все* не доказательствами, но насмешкою. Что же дает он нам взамен? — *Ничего!* Колкое остроумие, пылкость в мыслях

и выражениях, которыми натура одарила Вольтера так щедро, по самому существу своему способны более разрушать, нежели творить, способны только ниспровергать, никогда не созидая. Сими-то орудиями старался Вольтер искоренить в сердцах утешение, ниспосланное нам верою. И что дает он нам за нее в награду? *Ничего*, исключая разве опасного удовольствия смеяться. Нет для человека ничего необходимее, как иметь прочное основание, на котором бы он мог утверждать свои мнения, свои надежды. Вера — вера есть спасительный остров на обширном океане мнений. Отними у человека сие убежище, и он предан ярости кипящих волн. Горе человеку, которой научился вместе с Вольтером осмеивать священное учение религии! Я не спорю, что его моральное чувство может иногда быть довольно сильно, чтобы предохранить его от несправедливостей, от низких поступков; но сколь многие люди, видя развалины того здания, под сению которого они проводили дни свои в мире и счастии, с прискорбием восклицали — как некогда император Август при потере своих легионов: — «Вольтер, Вольтер! Возврати мне мою веру!!»⁵ — *Вольтер*, д'Аламберт и другие современные им писатели навлекли на Философию нареkanie, будто бы она противница Религии, — она, которая имеет с Религиею одну превосходную цель возвышать человечество! В бурях революции видели мы плачевные последствия безверия. Ибо во время бедствий и напастей вернее всего обнаруживается, может ли человек — следовательно и целая нация, — может ли он в самом себе найти какую-либо надежную подпору или нет? Руссо негодовал, жаловался на превратность нравов и общественных учреждений, но он делал это как моралист, с пламенным желанием истребить дурное, с намерением исправлять. Естьли он на одной странице и опровергает то, что возвышает человека — науки и просвещение; то на обороте увидим мы, что он научает нас, каким образом поступать должно, чтобы усовершенствовать природные способности человека, научает, как образовать добрых, трудолюбивых, честных граждан. Его «Эмиль» есть неоспоримое доказательство, что главная цель его была не опорочивание, но исправление; что он старался не разрушать только, но и созидать. Упрекают Руссо, что его система о человеке в *состоянии природы* и первоначальном общественном договоре способствовали к тому, чтобы вскружить головы французов. Однако это не было последствием необходимым или умыслом, скрывающимся в его творениях. Это было следствие случайное, происшедшее оттого, что

некоторые места в его творениях перетолкованы в дурную сторону. Нельзя не согласиться, что творения *Руссо* имели целью своею доброе и что он имел в виду единственно благо человеческого рода. Впрочем, писатель, как и всякой другой человек, должен отвечать только за свое намерение и за следствия своих деяний непосредственные и необходимые, а не за случайные и самые отдаленные.

Вольтер был без сомнения удивительный *Гений*. Но Невтон, Лейбниц, Кант, каждый в своем роде, ему ни в чем не уступали. Таким образом, каждая нация имела одного или двух мужей, которые в редком совершенстве соединяли в себе все то, что относилось к их времени и их нации. Но Руссо был необыкновенный феномен, не столько по таланту, как по характеру своему, — человек, не принадлежавший, по-видимому, ни к какому времени, ни к какой нации, — чужеземец не только между своими соотечественниками, но и вообще в нашем мире, одним словом: совершенная психологическая загадка. Весьма ошибаются те, которые думают, что пристрастие к парадоксам и самолюбие заставили его утверждать такие мнения, которые, будучи совершенно противны общим, должны были обратить на себя внимание и удивление всех. Творение его «*Эмиль*» не есть собрание парадоксов; но истинный идеал педагогики. А его воспитанник Эмиль не похож на зверя или дикого человека; ибо все его образование клонится к тому, чтобы сделать из него доброго, обществу полезного гражданина. Что же касается до идеи о человеке *в состоянии природы*; неужели почитают оную парадоксом? — неужели идея эта столь нова или неслыханна, как то она в первую минуту кажется? Может ли захочет ли кто не согласиться в том, что без наук не существовали бы не только моральные, но и большая часть физических зол? — Разве не то же самое подразумевали древние, рассказывая о златом веке, в котором люди без знаний, но и без забот и печалей, в сладкой тишине проводили дни свои? В самом деле новое и удивительное заключается не в самой вещи или в утверждениях, представленных нам в творениях Руссо, но в том, что здесь истинно поэтическая мысль составляет предмет философических изысканий, подкрепляемых прекрасными доказательствами.

Но скажет кто, одно суемудрие может родить мысль, что род человеческий должен, оставив путь просвещения, возвратиться в первобытное состояние животных бессловесных. В самом ли деле, однако ж, имел Руссо эту мысль? И мог ли он, ее имея, написать «*Эмиля*»? — Это противоречия, отвечают

нам, которые показывают, что он даже не наблюдалсообразности в своих мыслях. — Подлинно так!.. но сии противоречия заключаются не в уме *Жан-Жака*, но в самой натуре человеческой, и Руссо старался разрешить оные. — «В состоянии природы нет наук, но зато нет и пороков, того множества зол, которые проистекают от наук». Вот первое положение, само по себе справедливое и вместе горестное; Руссо предложил оное, почитая то за истину. «Но как человек не находится в состоянии природы и находиться не может; то должен он стараться уменьшать, истреблять пороки; чего может он достигнуть только посредством хорошего воспитания». Вот другое положение, столь же справедливое, как и первое, но вместе назидательное, утешительное; Руссо всеми силами старается убедить людей в сей важной истине. — Но, спрашивают многие, какую пользу может принести идея о состоянии природы, когда человек не может возвратиться в оное. — Она может и должна приносить пользу в том отношении, в котором Руссо употреблял ее, должна показать, что не в природе, но в самом человеке находится причина пороков и зол, которые укореняются в нас посредством воспитания, удаляющегося от природы.

«Ибо, — говорит он, — все прекрасно, выходя из рук природы, но искажается в руках человеческих»⁶.

Посему-то идея о состоянии природы была столь любезна, столь драгоценна его сердцу. Он был уверен, что человечество исправилось бы весьма много, естли бы Натура избрана была образцом, путеводительницею. Таким образом любимая мысль его находилась в совершенном согласии с любимым желанием его сердца. Он хотел обратить людей к натуре не для того, чтобы они стали зверями, но чтобы сделались людьми лучшими, счастливейшими.

И как можно принять в ложную сторону его теорию, для которой жизнь его и характер служат лучшим объяснением? Он не жил, подобно циникам, в нечистоте, в бочке, не пил воды горстью, не ходил в изодранной епанче, а еще менее на четвереньках; имел, однако ж, то общее правило с циниками, чтобы в образе жизни и мнениях своих приближаться к Натуре, чтобы уметь отказывать себе в излишествах и стараться быть независимым как от людей, так и от собственных нужд своих⁷. Любовь к независимости заставила его списывать ноты и не принимать ни от кого, даже и от друзей своих, подарков.

Он с грубой гордостью не говорил с Государем: я не требую от Вас ничего, как только, чтобы вы не мешали мне сидеть на

солнце; но он отослал маркизе Помпадур 48 луидоров, из числа 50, которые она прислала ему за списанные ноты, потому что назначенная им цена была два луидора⁸. Он вооружался против развращенности своего века не для того, чтобы казаться странным или прослыть мучеником своего времени, но потому, что сия развращенность была прискорбна его сердцу. Если бы поступки его были притворны, если бы его теория происходила от пристрастия к Парадоксам, то он, удовлетворив своему самолюбию, наслаждался бы счастьем. Но Руссо был несчастлив. Его поступки, его теория проистекали из самого сердца. Он действительно любил природу и человечество. Идея развращенности его столетия не была одним произведением ума, но тяготила его сердце. Он был недоверчив, убегал людей, почитал собственную участь свою доказательством сей развращенности. Могли бы они, думал он, ненавидеть, поносить, гнать человека невинного, человека, который любит их с такой горячностью, если бы они не были совершенно испорчены? Без сомнения, такое заключение было несправедливо и происходило от излишней чувствительности; отчасти и от того, что он не знал искусства приравниваться к людям и представлял их себе иными, нежели каковы они в самом деле. Но вы, которые ненавидели, поносили, гнали его, неужели вы никогда не имели в душе своей идеи о лучшем состоянии человечества? И можете ли вы назвать себя философами, если вы сей идеи о *лучшем* не предположили целию своей деятельности? Конечно, свет не может и не должен преобразован быть по идее одного человека; но чем более имеет он твердых оснований и обычаев, тем благодетельнее, тем нужнее бывает иногда голос человека, проповедующего в пустыне; голос, который возбуждает в нежных сердцах чувство нравственности и который с новыми идеями рождает в душе и новые отрасли человеческого счастья.

Ты подобен человеку, проповедующему с пустыни, о Руссо! Но не тщетно раздавался голос твой, Вольтер жил и умер в недре неги и роскоши. Руссо! друг Природы, ты жил и умер в ее объятиях!

